

Юрий Терапиано

ЛИТЕРАТУРНАЯ
ЖИЗНЬ РУССКОГО
ПАРИЖА ЗА ПОЛВЕКА
(1924—1974),

ЭССЕ, ВОСПОМИНАНИЯ, СТАТЬИ



ИЗДАТЕЛЬСТВА
АЛЬБАТРОС—ТРЕТЬЯ ВОЛНА
ПАРИЖ—НЬЮ-ЙОРК
1987

Алексей Ремизов

Источник выдумки, как и всякого мифотворчества, исходит не из житейской ограниченной памяти, а из «большой памяти человеческого духа», – сказал как-то Ремизов.

Именно из этой «большой памяти человеческого духа» – памяти народной – Ремизов почерпнул свою самую оригинальную и самую глубокую ноту, а касаться таких вещей всегда сопряжено с необходимостью страдать – и за себя, и за других, и за все существующее.

Мир иррационального, который приоткрывает нам Ремизов, полон таких непримиримых противоположностей, такого сплетения значительного и незначительного, правды и лжи, пронизан подчас таким ощущением путаницы и безысходности, боли, одиночества и оставленности, что разбираться в таком адском хаосе – непрестанное мучение. Сердце человеческое в тайной глубине своей полно желанием любить: оно, сознательно и бессознательно, ищет любви, ждет отклика и чрезвычайно болезненно переживает всегда отсутствие любви.

Но – самое страшное – мы и в себе самих постоянно принуждены преодолевать злобу, осуждение и ненависть в отношении своих близких и дальних.

Ремизов, обладавший широчайшим душевным диапазоном, проникновенный и умный человек, может быть, один из самых умных писателей своей эпохи, испытал на себе все, изведал опытно, как ужасны отрицание и потеря веры в человека и в свои силы.

Самая же глубокая черта, часто скрываемая им под покровом иронии, насмешки или чудачества – это его скрытая нежность, ласковость и снисхождение ко всем людям.

Одним из постоянных стремлений Ремизова было желание подчеркнуть единство человеческих судеб во всякие времена.

«Прошлое или настоящее – это только обман зрения, на самом же деле нет ни настоящего, ни прошлого, все вместе, „la comedie humaine“ – явление целостное, лишь призрачно раздробленное», – уверяет он.

Между одиннадцатым, семнадцатым и нашим веком в этом плане нет никакой разницы. Тристан и Изольда, Савва Грудцын, герой Гоголя, Достоевского и Толстого, так же как и современники наши, знакомые Ремизова, собирающиеся у него в доме, – все это одна и та же божественная игра светотеней судеб человеческих, для которой нет ни начала, ни конца.

Как это ни удивительно, обычно скептически и «картеизански» настроенные западные читатели приняли Ремизова и по настоящему интересовались им.

Несмотря на исключительную трудность перевода, произведения Ремизова были оценены западными читателями, и после Мережковского он сделался одним из тех русских писателей, книги которых читаю.

Сложная и трудная порой вязь словесной ткани Ремизова в переводе, конечно, не столь своеобразна, как в оригинале, и сам Ремизов, шутя, говорил иногда, что путающимся в ремизовских «словесных вывертах» отечественным читателям он советует читать его книги по-французски. Но так или иначе, Ремизов до западной аудитории «дошел», и они сумели почувствовать не только внешнюю сторону его произведений, но и внутреннюю.

Исключительный слух на самое тайное и глубокое дал возможность Ремизову проникать в суть прозрений и прорицаний наших великих писателей – Пушкина, Толстого, Достоевского и особенно Гоголя. С ним у Ремизова, так же как и с Гофманом, духовное сродство в метафизическом плане.

«Огонь вещей», скрытый пламень порывов по ту сторону, красной нитью проходит через все главные произведения Ремизова, через все его «странствования по человеческим душам».

Ремизов отличался глубоким знанием древнерусской письменности и народного фольклора. Чего только он не знал в этой области, а оказавшись на Западе, с такой же зоркостью и понима-

нием он обратился к легендам и сказаниям западных народов.

Но, несмотря на такие обширные знания, Ремизов не был сумным начетчиком-эрuditом, накапливающим только внешние данные.

В сказках, легендах и в преданиях любого народа он умел находить скрытый смысл как в области вечной темы о любви, о жизни и смерти, так и в сфере инобытия.

Он очень верно показал разницу между дохристианским и послехристианским фольклором, почерпнув в последнем наличие преображающего начала покаяния, тогда как в сказаниях дохристианского мифа эта преображающая сила отсутствует, и трагедия всегда остается безысходной.

Тема победы над злом и грехом преображающей силы рассказывания показывает, насколько важно было для него сначала религиозное.

В жизни Ремизов, как мы знаем, следовал своим убеждениям.

Ослепший и больной в течение своего последнего периода жизни, он страдал молча, не жаловался и не роптал – по свидетельству его близких.

Ремизов ощущал наличие жизни во всем, даже в предметах.

– «Вы убеждены, что неодушевленные предметы чувствуют?» – спросил его Короленко, – «и посмотрел на меня жалостно».

«Но в ту минуту я так ярко чувствовал. Я не различал, где граница... – и есть ли такая – между ступенями жизни в живой природе, от беспокойно летящей звезды до тяжелого „мертвого“ камня, или есть ли такой предел моему одушевляющему чувству?» – говорит Ремизов в своей книге «Мышкина дудочка», в главе «В сиянье голубом».

Состояние сна и сновидения очень привлекали Ремизова. У него постоянно мы встречаемся со всякими категориями снов – иногда подлинных, иногда — «литературных», из числа тех, видеть которые Владислав Ходасевич Ремизову строго запретил: – «А то пять лет подряд бранить буду!».

Перелистывая сейчас писания Ремизова, я натолкнулся в «Мышкиной дудочке» (глава «Как во сне») на совсем неожиданное для «фантаста-выдумщика» определение снов:

– «Природа сновидения – мысль. И все, что совершается во сне, все только мысль».

В книге «Подстриженными глазами», говоря о своем детстве и юности, Ремизов дает параллельно с историей своего становления картины Москвы конца прошлого столетия, где наряду со внешним ее обликом само собой выступает ее духовная суть, оказавшая несомненно решающее влияние на душу будущего писателя.

«Разве могу забыть я «Столповой распев» Большого Московского Успенского собора, – одноголосый унисон литии, знаменитый догматик и затканную серебром песенную пелену – эту голубую глубь – древние напевы дымящейся синим ровным ладаном до самой прозрачной августовской зари бесконечной всенощной под Успеньев день?..»

...«И этот лад – моя мера и мой суд. И в серебряном ливне гоголевского слова, засветившегося мне из черной Диканьской ночи, узнал его лад – русской земли».

Любя человека и ответно испытав на себе самом и светлые и темные порывы души, Ремизов иногда был способен убийственно метко заклеймить ту «пошлость и малость», к которой и Гоголь не мог оставаться равнодушным.

– «Бедные! Бедные! Бедные люди – обездоленное, нищее человечество! Тупая норма и нормальная тупость».

Во всех своих произведениях Ремизов верен своей постоянной теме о сложности и противоречивости сосуществующей в человеке двойственности – свете и тьмы, склонности к доброму и злу, которая для него, так же как и для Гоголя, более реальна, чем трехмерный, плоский, «только земной мир».

Именно поэтому он так и ненавидит «тупую норму» и «нормальную тупость», мешающие людям заметить «чудо» – метафизическую подоснову жизни.

Он всегда помнит о «настоящей памяти», то есть «уходящую в бездонность, вневременную», и знает, что смерть – «это только какой-то срыв, но никак не конец».

Сказочное, магическое, заклинательное – для него реальность. «Это силы, управляющие в нас возникновением того или иного мира».

– «Верю в чудо, люблю все живое», – формулирует Ремизов свое «кредо», представляющее для него то самое главное, без которого ни один человек не может по-настоящему быть душой живою.